



1997 №27

Эх да ух! Поймали лису бабы,
любо, люто их глазу сверкала шкурка,
уж любили они ее нежно, лупили слабо.
Хороша получилась у бабы одной шубка.

Но зато остались у меня петел Петя,
волк да заяц, заяц да волк, волк да петел.

.....
ах, ты петушок Петрович, веселая тушка,
ах, ты волк, горечь моя, ах, ты заяц черный,
.....
были вы мне женою и мужем.

Мама, мама! поймали фашисты Петю,
оторвали хвост его многоцветный, угрюмый гребень
(я глядел, убогий, тогда в бинокль),
ветер донес до меня, отразил в небе
крик петелинья да мокрый орла клекот.

Но зато остались у меня волк да заяц,
волк да заяц, заяц да волк, волк да заяц.

.....
ах, ты волк последний, ах, ты заяц последний
.....
были вы мне кем-то и кем-то.

Скоро, скоро придут и за мной и возьмут руку,
и возьмут ногу мою, и возьмут губы,
даже синие глазки твои у меня отнимут,
все возьмут - только волчью и заячью муку
не отнять им, ибо терпеть убыль,
а они не хотят ни терпеть, ни гибнуть.

Ибо скоро конец голубой и быстрый,
ультракрасный и медленный, будто карри,
будет волк рычать, будет заяц биться,
будет масло пускать золотые искры,
будут ждать меня многоумные твари,
будут плавать в уме, как в лазури, лица:
кот и петух, петух и лисица.

БИТВА ПОСТА И МЯСОЕДА НА ШЕСТИ САЛФЕТКАХ

Салфетка первая

Зима войну ведет с огромным пирогом,
и ножик точит, и угря зовет.
Но я-то знаю: угорь нас убьет,
он только с виду скромен и копчен.
Я ничего не дам тебе иметь:
кто смеет есть, тот не умеет есть.

Салфетка вторая

У мясоеда нет ни рук, ни ног.
Он животом натрет тебе мозоль..
Тебя он хочет, черный пирожок.
о! темноротый, бедный мой!
съешь меня сам, не беги крупяных утех.
Или ты псих ненормальный? совсем больной?
Почему ты решил, что ты лучше всех?

Салфетка третья

Пирожок говорит: из-за чьих третей
сражался сыр, не за этих ли сук?
Хочешь ешь меня, хочешь пей.
Только нагони побольше мух.
Что-то крылышки мои, Франциск, болят.
Мне нравится, когда меня едят.

Салфетка четвертая

А колбасы твои все равно писухи,
крутят мордой. но страшно гореть в жаровне.
Нет, уж лучше в рот, чем такие муки.
Нарисуй-ка мне, Брейгель, скромные брюки,
или, может, тебе вензеля на горле
надоели, индейка моя золотая?
От угрия, пирожок, соловьев не бывает.
Но и ты мне давно не родня, не ровня.

Салфетка пятая

Ай не бей меня, не бей по башке кареткой!
Это, папенька, говно, а не держава.
Шла бы ты, родная, под сурепку.
Только, блин, скажи: отчего у фрау
зубки такие, такая репа?
зубки такие, такие раны?
А поет горячо, дорогим сопрано.

Салфетка шестая

Вот и сыр, гугенют, говорил, засыхая:
Разве это Бозио поет? Рожа
больно мерзкая, не понять даже,
сколько ручек у нее, сколько ножек.
Тоже мне нашлась, е-мое, Пасифая.
Я от положней таких не умираю,
что-то я тебя не понял, папаша.

Было горло красненьким, голодным, прогорклым,
горькое, как масло, слепое, жадное горло -
жалким и жадным горлышко, как рыбешка, было,
всех проглотила жадная жалкая рыба.

А ты беги отсюда, вон пошел, скотина,
хватай за жабры и бросай, как палку.
Но уже не рыба - слышишь, не голос и запах рыбный,
а змея цветущая, голод ее жалкий.

Уж и вьется уж, всех сожрал, мокрый:
нет у него теперь ни снохи, ни свекрови, ни свекра.
Грабли взял - опоздал: не жало и жабры,
а глядит на тебя несчастная морда жабы.

Ам, - сказала жаба и съела тебя. Странно,
почему она плачет жемчужно и с тоски зеленей лука,
почему она плачет жемчужно и ломает зеленые руки:
нет у жабы ни брата, ни мамы,
ни любимого, ни любимой - всех она съела, сука.

Всех она заманила в свое горькое, горькое горло,
в рыбку свою, в свою змеиную трубку
и свистит теперь дудукой, и ей отвечает гулко,
как в органе, то одно, то другое горло.

А твой звук - самый нежный, самый высокий,
лежи без муки, пой высоко - будет
плакать тебе: скоро жаба разбрьзжет дольки,
полетят, как ракета, ноги ее и руки,
полетят, как ракета, руки ее и ноги,
выйдешь ты из нее, выйдут другие люди.

Май, - скажут, - ай; май, куличи да пасхи,
победили мы суху эту, рыбу, змею, жабу,
будем лапками в лапту играть; царские примерять глазки.
А у меня горло болит: жалко жабу.

Взял я мертвое горло, склизкую трубку в тряпку
(тошило меня, тряпкою взял, боялся),
вырыл ямку и горло, укрыл в грядку:
спи спокойно, недолго уже осталось.
Третий день молчу, глотку покрыла корка,
болит, болит, братец, у братца твоего горло.

Не страсть страшна, небытие - кошмар.
Мне стыдно, Айзенберг, самим собою быть.
Вот эту кофту мне подельник постирал,
а мог бы тоже, между прочим, жить.

Я быть собою больше не могу:
отдай мне этот воробышний рай,
трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай
(а если не отдашь - то украду).

Я сам - где одуванчики присели,
где школьники меня хотят убить -
учитывая эту зелень, зелень,
я столько раз был лучше и честнее,
а столько раз счастливей мог бы быть.

Но вот теперь - за май и шарик голубой,
что крутится, вертится, словно больной,
за эту роскошную, пылкую, свежую пыль,
за то, что я никого не любил,
за то, что баб Тату и маму топчу -
я никому ничего не прощу.

Я все наврал - я только хуже был,
и то, что шариком игрался голубым,
и парк Сокольники, и Яузу мою,
которую боюсь, а не люблю, -
не пощади и мне не отдавай
(весь этот воробышний, страшный рай).
Но пощади - кого-нибудь из них,
таких доверчивых, желанных, заводных.
Но видишь ли, взамен такой растрате,
я мало, что могу тебе отдать.

Не дай взамен - жить в сумасшедшем доме,
не напиши тюрьмы мне на ладони.
Я очень славы и любви хочу.
Так пусть не будет славы и любви,
а только одуванчики в крови.

О Господи, когда ж я отцвету,
когда я в свитере взбесившемся увижу -
так неужель и впрямь я лучше стану,
как воробей смирившийся в грозу?

Но если - кто-нибудь - всю эту ложь разрушит,
и жизнь полезет, как она была
(как ночью лезут перья из подушек),
каким же легким и дырявым стану я,
каким раздавленным, огромным, безоружным.
1996